

Вадим Паршин
Дом, который ты оставил

«ЛитРес: Самиздат»

2014

Паршин В. А.

Дом, который ты оставил / В. А. Паршин — «ЛитРес: Самиздат»,
2014

Книга об одиночестве и одиноких, идущих и ждущих, о том, что такое жизнь и ценность этой самой жизни. Как одного человека, так и всего человечества. Содержит нецензурную брань.

© Паршин В. А., 2014
© ЛитРес: Самиздат, 2014

Тихий скрежет незапертой двери.

Монотонное, тихое и, вместе с тем, ужасающе громкое жужжание лампочки с сером бесконечном коридоре. Одной единственной, наверняка кажущейся самой себе исключением из правил, лампочки.

На весь коридор.

На все здание.

А между тем, она, обладая познаниями лишь крошечного пространства освещаемого ею участка жизни, к ней никак не принадлежащей, как бы сильно не захотела она сейчас этого, эта крошечная, даже не в 75 ватт, лампочка, с кляксой серой сохшейся мухи, прилипшей к стеклу несколько недель тому назад, эта самая лампочка не сможет заглянуть туда, за границы своей микроскопической вселенной. Она могла бы моргнуть, так, как делают это люди, закрывая глаза и рисуя перед своим мысленным взором картины того, что им недоступно, но прикоснуться к чему так необычайно хочется. Она могла бы моргнуть, услышать шепот лампочек, чьи вселенные живут, дышат, видят там, где она мертва, там, где она бездыханна, там, где она слепа.

Но неаккуратно проложенный когда-то волосок алюминия, успевший уже прожить гораздо более долгую положенную ему жизнь, уставший от бесконечности натянутой, пробиваемой, выжигаемой током струны, три дня как нарушил свое невыносимое существование.

Нитка кровотока была порвана.

Лишь крупницы лазерных искр, разбежавшись и слепо стремящихся все вперед и вперед, без желания и права остановиться, посмотреть туда, где в настоящее стремилась неизвестность будущего, в долгом и смертельном прыжке достигали той стороны этого самого будущего.

Тихо скрежетала незапертая по чьей-то оплошности дверь.

Монотонно, тихо жужжала полуслепая, моргающая, глухая лампочка.

Неуловимо для уха, тихо шептала свои песни влага, принесенная толстой, в годах, ненавидящей самую жизнь, уборщицей, чьего имени наверняка не помнил и не знал никто, точно также, как никто не знал грязного подъезда в пригороде, не нанесенного даже на карту, вечно пустого, залитого полумраком, воняющего всем, кроме жизни и радости; подъезда старого, отжившего свой век барака, в покосившуюся дверь которого каждый вечер входила та самая уборщица.

Входила, на мгновение застывала у черной, облупленной двери, протяжно вздыхала, нервно нащупывала один единственный ключ.

Щелчок, словно взведенный затвор пистолета. Курок напряжен. Пуля ждет своего часа.

Скрежет, словно время решает ускориться, часовая стрелка, сцепившись с минутной, начинает быстрый, громкий бег вперед, лишь бы мчаться, бежать и не останавливаться.

Но вдруг, грубо и жестоко, с третьим оборотом, скрежет смолкает. Часы застывают.

Нет движения вперед

Остановилось время.

Остановилась жизнь.

Скрип.

Уродская фигура входит в сырую, переполненную вонью, пылью и тараканами комнату. Засаленный, грязный, сырой диван. Гнилые половые доски с дырой, прикрытой листом фанеры в углу у окна. Покрытая желтоватыми пятнами электроплитка. Полумрак. Давящий полумрак даже тогда, когда уродская фигура включает все возможные в комнате источники света.

Тихо шептала влага, испаряемая желтоватым светом коридорных ламп.

И никто, никто из этой вселенной не знал иступленных молитв, в которых, каждый вечер возвращаясь домой, уродская фигура просила Бога лишь об одном: “Не рая, так хотя бы ада – все одно лучше этой никчемной жизни...”

Тихо шептала влага.

Дурно хрипел влажный воздух. Хрипел, метался от выкрашенных облупившейся краской, стен, в складки которых день изо дня, на протяжении многих дней, недель, месяцев, лет набивалась пыль, пригоревшие спички, пережеванные, бесформенные сгустки розовой жвачки, белой жвачки, зеленой жвачки.

Хрипел, метался к мутным в тонких трещинах, окнам – заботливо не вымытым уродской фигурой. С кляксами наслоившихся друг на друга надписей и рисунков.

Просто отпечатков пальцев, рук, губ, лбов, щек.

“Вместе навсегда”

Тихая, тонкая, беззаботная надпись.

Слова, сказать которые может только лишь семнадцатилетняя девушка, чьи огрубевшие, познавшие всевозможные прикосновения семнадцатилетних, девятнадцатилетних, двадцатитрехлетних и вновь семнадцатилетних рук, формы лежали сейчас грудой тряпья, оставленного теми, чьим рукам было отдано это стекло, чьим губам были отданы эти губы и складки тела, промерзающие во влажном полумраке и защищенные только лишь пурпурной полоской сдвинутых слегка ниже все еще упругих ягодичек трусиков.

Лежа на животе и подперев свое уже девятнадцатилетнее тело тонкими руками в родинках, семнадцатилетняя, она, в свои девятнадцать, медленно затягивалась крепкой сигаретой, влажным взглядом смывая тонкую, грязноватую надпись на стекле.

“Одиночество”

Она затягивалась крепкой сигаретой, пытаясь до предела напрячь слегка подернутые целлюлитом ягодички. Прекрасно зная – всю ее юношескую влагу уродская фигура истратила на мойку пола под отживающей свой век тусклой лампочкой.

Моноotonно шипела, время от времени потрескивая в темноте, крепкая сигарета.

Хотелось закрыть глаза, обо всем забыть, запустить руку в пурпурную полоску трусиков. Почувствовать хотя бы свое собственное прикосновение. Заменить собой кого-то из тех, семнадцатилетних, девятнадцатилетних, двадцатитрехлетних. Вернуть, собрать с пола всю до капли, сжать в ладонях, стянуть трусики и вернуть в себя всю свою влагу. Размазать ее по холодному влагилицу, размякшим соскам. Сухим губам.

Лишь бы надпись на мутном стекле исчезла.

А надпись, настойчиво и неумолимо, продолжала терзать грязное, вековое, однако, по воле страшной вечности, так и не дробящееся на бесконечность микроскопических звезд-искорок, окно.

Пела влага и пела ночь. Царящая за ним, за этим одновременно бывшим и никогда не существовавшим, уже не здесь и не сейчас, окном; царящая за ним ночь мелькала вспышками света, этими насмехающимися над полуживой здешней лампочкой, хохоча над ней и крича в ее сторону, всполохами молниеносной жизни. Они мгновенно разрывали темноту, покрывая надпись “здесь были” серебристым, сказочным сиянием, но сами “здесь” не были, а тут же, также молниеносно, гасли, не успев даже простонать прощальное проклятие смертельно усталой и потому убийственно спокойной лампочке. Она-то – здесь – была.

И все, что достигало ее мутной, пыльной и мошкотрупной поверхности, было лишь жалкими бликами алого шипения, мерцающего, гаснущего в бордовый развод, в глухое пятно, окруженное белой дымкой, грязной, пепельной дымкой остывшей жизни. И жизнь эта темнела и даже чернела, медленно коверкаясь в самые немыслимые позы – до тех самых пор, пока, раскачиваясь вокруг них, за и перед ними, и даже вокруг них, дрожь землетрясения не ломала последние надежды на то, что у них все еще может быть не так страшно.

И все еще думая, каждая, думая об этом, об этой надежде, каждая расплывалась в полумраке окутывающей их пустоты.

И парила.

И все они медленно и долго парили под влажным по цвету, но совершенно и абсолютно сухим по состоянию, взглядом девятнадцатилетней, на виду темноты, пустоты и ночи покрываясь старческими, мраморными морщинками, сходящимися, ползущими, процарапывающими когтями страха себе дорогу к черному пятну теневого блика на правой щеке. Ползли, царапали и пробирались до тех самых пор, пока теневое пятно, принимая под тусклым, остывающим светом искр законной жизни формы иной ночи, иных штрихов, иных изображений.

Вот тонкая, кривая, угловатая линия, из состояния вертикального переходя, неумолимо и абсолютно логично, в горизонтальное, образовала утолщившийся росчерк.

Холмы, далекие редкие кустарники.

Трещина-вена, глубиной в пол человеческого, бессмысленного роста.

Вот углубилась тень, печальная и округлая. В бликах звезд-осколков круг трепещет, обращается и вглядывается в структуру того, что, накапливаясь, набирая звук машинного, едущего мимо, рева, гула не имеющей тормозного пути жизни. Оболочка, истошно хранящая остывающее цветение распадающихся огоньков фейерверка, набухает, чернеет самым своим сердцем, краями же изрисовываясь трещинами-контурами неизвестного, не рождающегося, но уже уничтожаемого континента, в полнейшей тишине и совершенно беззвучно лопается.

Круг пятна тени вскидывается.

Взгляд тихо, без права изменить рефлекторное движение, устремляется в пасмурное небо цвета бледной кожи.

Девятнадцатилетняя заглатывает мокрую грусть своей иссохлости – и плечи пятна напрягаются, выкидывая руки в обе стороны, образуя горизонт взорванной вселенной. А зев-дыра в овале головы разрастается и корчится.

Резкая вспышка.

Боль.

Непонимание того, зачем и почему все это происходит.

Рядовой разевает рот в истошном крике, но рот выдает лишь молитвенную и древнюю хвалу тишине и безмолвию. В угасающем всполохе разорвавшегося снаряда целой жизнью угасает его сознание, искромсанное осколками, исцеловавшими лицо в самых ненужных местах. Бессмысленные руки бессмысленно пытаются обхватить уносящийся от него к другим, живым, мир, пальцы царапают недостижимое небо.

А сердце вздрагивает самым сильным детским вскриком и выбрасывает сгустки алой крови, бегущей в общей лейкоцитарной давке, словно бы при неожиданном происшествии, забывая о правилах безопасности, рассудке и схемах эвакуации – вперед и только вперед. Безмозглыми пучками тока.

К ней.

К вековой лампочке-солнцу.

К ней и мимо нее.

Но туда. Туда, где искрит раненная, надломленная кровотоком гаснущего развода-рядового, проложена алюминиевая нить.

Стремятся, мчатся и падают каплями влаги.

Потому что горизонтальный мир, скрипя и пульсируя, уже совершил суточный оборот вокруг оси сознания и вертикально взметнулся навстречу грязно-охровому полу.

Пеплом, известкой падают прогоревшей практически до конца двадцатилетней сигареты. Падают и капли глаз двадцатилетней. Капли, так ей сейчас необходимые, но и ненавистные, ибо разделить, различить, подхватить, поймать, собрать, сохранить и разделить их с нею – некому. Никто не сидит и даже не лежит с ней рядом. Она, в величии одиночества, совсем

одна. И слез ее, никем не виденных, не существует. И комнаты ее, одинокой и страшно темной, не виденной никем, тоже не существует.

И самой ее – в мире других, чужих, а значит, для нее самой, не существующих – не существует. Никого, нигде, ни у кого и не для кого, не существует.

Погасли уже законные ненавистники, вдохновляющие дрожащую сигарету жить, быть и что-то, хоть что-то, раз уж некого, любить, страдать от чего-то, к чему-то, хоть как-то, как умеет, стремиться. Страдать еще раз, погибая во-имя кого-то.

Погасли ненавистники, именно сейчас, как раз вовремя, для того, чтобы не тревожить уродскую фигуру, там, на окраинах, грязных и вонючих окраинах, скрюченную на коленях у кровати, засаленной и скомканной кровати, к правому, устенному краю подушки на которой бережно, мягко и любяще прислонен, уложен и обогрет молчанием портрет рядового, этого двадцатичетырехлетнего там и пока еще размыва на впалой щеке изможденной бесцельным днем бесцельной жизни девятнадцатилетней.

Лежит, грустно и молчаливо, отстраненно и сегодня апатично задумчиво, не тянется, не касается положенной тут же, рядом, сигареты. Ему не хочется курить. Ведь сигареты убивают, уничтожают, калечат. А он уже убит, размазан вдохновенным мазком неистового, мракобесного человека-творца, этого грубого и так и не повзрослевшего ребенка, ибо, будь так, что повзрослеет ребенок, разве не станет до омерзения ясно ему, этому теперь уже взрослому существу, то округлое и истинное – Земля, живут на которой только лишь люди, и вместо того, чтобы жить, любить, страдать, ошибаться, радоваться, плакать, смеяться, очаровываться, разочаровываться, надеяться, терять надежду, сомневаться, расти, стареть, сострадать, рождать, болеть, умирать, создавать, любоваться, восхищаться, восхищаться, воспитывать, воспитываться, засыпать, просыпаться, убаюкивать, целовать, ласкать, кричать, пить, выпивать, напиваться, работать, получать, отдавать, копить, тратить, дарить, петь, молчать, касаться, соглашаться, отказываться, сомневаться, выбрасывать, подбирать, курить, читать, считать, плевать, плыть, ехать, стоять, сидеть, лежать, ждать, летать, гореть и гаснуть вместе, и только вместе, существуя друг для друга, день изо дня, ночь из ночи, а точнее, мгновение из мгновения, секунду из секунды, минуту из минуты, час из часа, день изо дня, неделю из недели, месяц из месяца, год из года, десятилетие из десятилетия, пятидесятилетие из пятидесятилетия, век из века, тысячелетие из тысячелетия, друг друга – уничтожать.

А потому он, рядовой, и потому она, рамка – уже уничтожена.

А он уже искалечен, сплюснен, низвергнут от полнотелости и жизни, до состояния копии, изображения. И изображение это, на правой стороне подушки, не существует, но ждет, когда же уродливая фигура решится, также, как и множество ночей назад, не раздеваясь, не умываясь, не расчесывая волос, лечь, не накрываясь одеялом, поцеловать несуществующего рядового в плоские губы, и уснуть, теперь уже, быть может, наконец, навсегда. Уснуть, закрыть глаза, и перестать существовать. А может, лишит существования все и всех, ибо смерти не зная, имеет полное право считать себя бессмертной, существующей всегда и везде, а исчезающее однажды существо бытия – лишенным ее внимания и понимания, а значит, перестающим существовать, в то время, как сама она – есть и будет дальше.

Ведь есть мы: ты, я, он, она. И ведь нет никого из нас: ни тебя, ни меня, ни его, ни ее. И нет не испещренной не словами и не предложениями не страницы, не которую не каждый не из нас не обязан и не может не читать – всего лишь в микроскопической “не”, быть или не быть которая обречена в каждом из нас.

Ибо нет чувств, никаких и никакого масштаба и глубины, а всего лишь эмоции.

И ибо нет эмоций, не сильных, не слабых, а есть лишь порыв.

И ибо нет порыва, стремительного, или же вялого, а существует лишь слово. И слово, одно лишь бесчувственное и безучастное слово, производит в “есть” все. И лишь оно делает все таким, каким оно отныне, вословленное, будет и пребудет во-веки шаткости и изменчивости.

Так пела влага. Так пела сухая, а теперь вспучившаяся влага на щеках двенадцатилетней девочки, в позе лотоса сидящей на кровати, в абсолютной темноте и тишине своей комнаты, уставившейся в окно, чистое и блестящее, неподвижным взглядом. Молода и свежа она, с упругими ягодицами и влажными губами, с крохотными и розовыми сосками на округлой груди. Нервно дрожат ее хрупкие руки, напряженно сжимая наполовину опустевшую шариковую ручку. И колышется на неизвестно откуда взявшемся ветру исписанный клетка в клетку, посиневший и потемневший от чернил, листок, таящий в себе все то, что было, или же не было с ней, двенадцатилетней, но уже имеющее себя, существующее в запечатленности.

Колышется листок, в котором она, плачущая сейчас, есть и будет. Есть и будет, быть может, вечность, сохраненная и оставшаяся. Или же резким толчком застынет, встынет в жизнь и перестанет быть, превратившись в ничто.

Но плачет она, двенадцатилетняя, совсем из-за другого. Плачет она из-за того, что не верит в то, что она, сейчас, здесь, для себя, и там для всего и всех остальных, существует, есть, дышит, плачет, пишет. Она бросается к окну, прижимается к холодному стеклу, вдавливаясь, проваливаясь в него самоим собой, лицом, лбом, волосами, ресницами, носом. Она быстро, истошно дышит на холодную поверхность стекла и нервно, истерично пишет на образовавшейся липкой псевдопромерзлости, на этом осязаемом доказательстве собственного дыхания, короткое: “Я жива”.

И все в этот момент тихо, прозрачно безучастно, несущественно и не нужно. Все, что вне этой короткой надписи.

А она кричит: “Я здесь, я жива, я существую, дышу, двигаюсь, и вы, все вы, сейчас и сейчас-после, там, за окном, и там, перед окном, должны прочесть, узнать и понять, вы, рождающиеся для того, чтобы расти, радуя своих и вам лично близких, любить для того, чтобы не быть одним, ибо одним страшно, бесцельно и не нужно, и не дать быть, им, столь же одним, ибо им, тем одним, иначе не существовать в вас и для вас, а значит, им, тем одним, сомневаться, или, точнее, уверяться в страшном несуществовании – вашем, или же их собственном. Так вот, вы, вы все, должны, обязаны моей мольбой прочесть, понять, узнать о моем существовании и доказать мне – мое собственное существование”.

Так кричат эти два слова на стекле.

А она не прозрачна и телесна. Она есть, здесь, покуда след дыхания, возможно существующей, а возможно, что и нет, двенадцатилетней. Ничего не существует в этом мире помимо того, что уже замечено ею. И если замечено и вами тоже, и ими тоже, значит, и в вашем мире, и в их мирах, существует тоже. Пройдет время, некий конкретный, или же совсем расплывчатый, незафиксированный промежуток времени, которое есть лишь настоящее, поскольку прошлое, прошедшее время – эфемерное, подверженное вопросам и сомнениям состояние памяти, а время будущее, грядущее, не существует, а начав существовать, живет временем настоящим, временем “сейчас”, каменея и медленно, или же стремительно вращая в глыбу памяти, ибо легка, безвесомая ноша несуществующего будущего, ощутима и неопределенна ноша настоящего, но лишь пласты памяти-прошлого, единственное во всей человеческой жизни, имеет тяжкое, давящее умение скапливаться, нарастать, утяжеляться, скрючивая наши спины и плечи, ваши спины и плечи, их спины и плечи, горбом наживаясь на нашем, вашем, их праве жить, и сотрутся малейшие следы наши, ваши. Их следы. Перестанут существовать все надписи обесловленного мира. Но придут холода. Но будет кто-то иной дышать на все стекла мира.

И вот тогда вновь вспыхнут, проснутся, оживут они. Весь мир вновь покроется словом.

А она не безучастна. Она несет в себе все значения бытия. Пройдет время, любой промежуток времени встанет ледяным пластом, треснет, вздыбится, разверзнется потоком льда этот промежуток времени, и стоя у этого самого окна, я, ты, он, она, в любом действии и бездействии, в любом состоянии, различим надпись. И каждый вдохнет, в силу уже хотя бы сво-

его любопытства и также, инерционно-безостановочным движением мысли, каждый вдохнет в нее, в эту надпись, в них, в эти слова, то что-то: “Я здесь (она), просто знай об этом (мы)”; “Я здесь (она) была, был (мы)”; “Я здесь (она)(мы)”; “Я здесь (она) что-либо делала, делал (мы)”; “Я здесь (она), в этом стекле, в этих словах, в этом безвремье, а вы там, во времени (мы)”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.